

18+

ПРАВО НА ГОРЕЧЬ

Н. ГУРИНА, А. РУДЕНКО

Что делает ведунья, когда устаёт быть ведьмой?

Наталья Гурина

Право на горечь

«Издательские решения»

Гурина Н.

Право на горечь / Н. Гурина — «Издательские решения»,

К ней приходят тайком. Одни называют её ведьмой, другие — ведуньей. Она знает травы, говорит с камнями и давно не ждёт гостей, которым нечего терять. Но этот пришёл с пустыми руками. И с запахом, который она помнит тридцать лет. Что делает ведунья, когда устаёт быть ведьмой?

© Гурина Н.

© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Глава 1. Девочка	8
Глава 2. Ведание	11
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Право на горечь

Наталья Гурина

Анна Руденко

© Наталья Гурина, 2026

© Анна Руденко, 2026

ISBN 978-5-0071-0936-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Штольня была пуста.

Егор вышел наружу, в серый рассвет, и со всей дури швырнул кайло о скалу. Железо лязгнуло, высекло искру. Он не обернулся. Стоял, дышал рвано, смотрел на Чусовую внизу — холодную, равнодушную, — и ненавидел. Себя. Гору. Отца. Всю эту проклятую жизнь, в которой он бился, бился, бился — и опять ничего.

Третий шурф за месяц. Пустой. Как и первые два. Как и все до них.

Он опустился на корточки и закурил. Пальцы дрожали. Махорочный дым смешался с туманом. Где-то внизу, по тропе вдоль реки, кто-то шёл — он слышал шаги и стук палки о камни. Старик. Из местных. Шёл, как ходят за грибами, — неторопливо, основательно. Поравнялся со штольней, остановился. Посмотрел на Егора снизу вверх.

— Пусто? — спросил старик.

Егор сплюнул.

— Пусто.

— А я тебя помню, — сказал старик. — Ты уж третий год по этим горам ходишь. Всё ищешь. И всё мимо.

Егор поднял голову и посмотрел на него — зло, исподлюбья.

— Ну и что? Тебе какое дело?

Старик не обиделся. Постучал палкой о камень.

— Я тебе так скажу: тем, кто ищет, Гора не даёт. А тем, кто спросить умеет, — даёт. Ты спрашивать пробовал?

— У кого? — Егор криво усмехнулся. — У Горы? Она мне сто раз ответила. Молчанием.

— У ведьмы, — сказал старик спокойно. — На Чусовой живёт. Ведунья. Говорят, помогает, когда больше ничего не помогает.

Егор хотел рассмеяться — но смех застрял в горле. Ведьма. Он не верил в ведьм. Не верил в Хозяйку Медной горы, в духов, в приметы. Но год пустых шурфов и три года надежд, разбитых о камень, — это тоже своего рода вера. Только в обратное. В то, что он пустое место.

— Ведьма, — повторил он. — И что? Пойти к ведьме?

— А что тебе терять? — сказал старик. — Ещё один пустой шурф?

Он развернулся и пошёл дальше. Постепенно его шаги затихли вдали.

Егор сидел на камне и смотрел на Чусовую. Злость ещё кипела, но теперь к ней примешивалось что-то ещё. Не надежда — надежды он боялся. Скорее, холодное, трезвое отчаяние. Ему нечего было терять. Кроме последней верёвки, за которую он держался: «я найду, я докажу, я не пустое место». Но верёвка уже трещала.

Он встал. Поднял кайло. Закинул мешок за плечо. И пошёл вниз по тропе — туда, где Чусовая делала поворот, и где, если верить старику, жила ведьма. Он всё ещё не верил. Но шёл.

А что ему было терять?

Он шёл вдоль Чусовой и злился.

На себя — за то, что послушал старика. На старика — за то, что тот посоветовал ведьму. На ведьму — за то, что она существовала где-то там, впереди, и он, Егор, здоровый мужик с кайлом и опытом, шёл к ней, как последний дурак.

Ведьма. Он даже слово это вслух повторил — и сплюнул.

Представилась старуха. Сгорбленная, с клюкой. Нос крючком. Глаза — как у рыбы, белые, навывкате. Сидит в избушке над рекой, бормочет, травы варит. Кости, наверное, по углам развешаны. Или лягушки сушёные. Или что-то похуже. Он слышал разное. Говорили, она с

духами знается. С подземным народом. С теми, кто живёт в старых штольнях и выходит по ночам. Говорили, может удачу дать. А может и порчу навести — это уж как повезёт.

Егору везло редко.

Он не верил в духов. В подземный народ — тем более. Сколько штолен перерыл — ни одной живой души. Камень, глина, вода. Всё. Сказки для старателей, которым нечем оправдать пустые шурфы. «Гора не даёт», «духи увели жилу», «Хозяйка рассердилась». Он каждый раз слушал и усмехался. Гора даёт тому, кто копает. А если не даёт — значит, плохо копал.

Но сейчас он шёл к ведьме. Потому что три года копал — и ничего. Потому что перепробовал всё. Потому что ещё один пустой шурф — и можно вешаться.

Или идти к старухе с клюкой.

Он представил, как придёт. Постучит. Она откроет — скрипучая, страшная. Он скажет: «Мне сказали, ты помогаешь». А она засмеётся — беззубым ртом. И скажет: «Помогаю. А что дашь взамен?» И начнёт перебирать свои кости.

Он даже остановился. Стоял на тропе и думал: а что он, собственно, ей даст? Денег у него нет. Золота нет. Камней — разве что пара пустых образцов. Может, ей дрова поколоть? Или воды принести? Или она потребует чего похуже — душу, например? В сказках всегда душу просят.

— Тьфу, — сказал он вслух. — Дурак.

И пошёл дальше.

Великан и Печка остались позади ещё вчера. Теперь скалы расступались, Чусовая текла шире, спокойнее. Он был уже близко. Ещё день-два — и дойдёт. Он развёл костёр у старой коряги на берегу — дерево было выбелено солнцем и дождями, но ещё держало тепло. Сидел, смотрел в огонь. Думал.

Может, и нет никакой ведьмы. Может, старик просто посмеялся над ним. Или сам верит, а её нет. Сидит сейчас в деревне, смеётся: «Вот дурак, поверил, к ведьме пошёл». А он, Егор, идёт. Третий день будет идти. И придёт — а там пусто. Просто скала. Просто дом. Никого. Да и есть ли этот дом вообще?

На второй день пошёл дождь. Мелкий, противный, августовский. Тропа размокла, сапоги скользили. Егор матерился, но шёл. Один раз сорвался с осыпи — съехал вниз, разбил колено. Сидел на мокрых камнях, зашивал штаны суровой ниткой. Дождь капал за шиворот.

К исходу третьего дня увидел дом.

Тот стоял на скале над рекой. Не избушка — добротный, врезанный в камень. Из трубы шёл дым. Никаких черепов на кольях, никакой дороги, высланной костями, — только узкая тропа, протоптанная в камне. Егор даже разочаровался слегка. Он-то ждал, что ведьма будет жить в логове, а тут — просто дом. Как у всех. Только место странное: скала нависала над крышей, и казалось, что камень не давит, а держит.

Он остановился. Достал кيسет. Махорка отсырела ещё вчера, но он всё равно скрутил самокрутку, закурил. Дым смешался с туманом. Он смотрел на дом и думал: «Старая карга с клюкой. Сейчас откроет. Потребуется душа. А у меня за душой ничего-то и нет».

Усмехнулся — невесело, но честно. Бросил окуроч. Поднялся по тропе. Подошёл к двери.

Глава 1. Девочка

Тук-тук.

Костяшками пальцев по стеклу. Не в дверь — в окно. Так стучат те, кто боится, что дверь не откроют. Кто пришёл тайком и не хочет, чтобы их увидели с реки.

Над Чусовой сгустились сумерки. Река в этот час казалась не водой, а расплавленным оловом — тяжёлой, медленной, остывающей. Скалы на том берегу темнели, втягивали в себя остатки света. Ещё час — и они станут совсем чёрными, только гребни обозначатся на фоне неба, как спины спящих зверей.

Дом стоял над рекой, врезанный в скалу. Со стороны воды его почти невозможно было заметить — каменная кладка сливалась с породой, и только дым из трубы выдавал человеческое жильё. Дым поднимался вертикально в безветренном воздухе, а выше, над скалой, расплывался, цеплялся за уступы, слоился.

Ульяна сидела за столом из цельного каменного пласта. Стол был старым — его помнили таким ещё её мать и бабка. На поверхности темнели пятна воска, въевшиеся в камень за десятилетия, и мелкие выщерблины от ножей, которыми крошили сушёные травы.

Перед ней лежали камни — в деревянных лотках, в глиняных плосках, на холсте. Яшма — тёплая, землистая, пахнущая железом. Её привозили с южных отрогов, и каждый кусок был расписан слоями, как годовые кольца дерева. Сердолик — маслянистый на ощупь, цвета запёкшейся крови, — она держала его в ладони, и камень отвечал теплом. Малахит — зелёный, слоистый, с тёмными прожилками, — хранил в себе женскую боль и женскую силу. Его она брала только для родов и для тех, кто потерял ребёнка. Обсидиан лежал отдельно — чёрное стекло, рождённое в огне. С ним работали осторожно: он показывал Тень. Рядом, в отдельной плоске, лежал агат — полосатый, серо-голубой, — его она грела перед сном, когда мысли не давали уснуть.

Ульяна перебирала камни. Это была не работа — скорее, привычка. Так другие перебирают нитки или чётки. Каждый камень она знала на ощупь: этот, с острым краем, принесла с Чусовой два года назад; этот, гладкий, нашла в пещере; этот, самый холодный, достался от матери. Камни молчали — они всегда молчат, пока их не спросишь. Но в их молчании был покой.

Вдоль стен на полках стояли глиняные горшки и берестяные туески с травами. Пучки сушёной полыни, зверобоя, ромашки, чабреца свисали с балок. Травы пахли летом — коротким уральским летом, когда всё живое торопится набрать силу за три месяца. Сейчас, в печном тепле, этот запах становился гуще, плотнее, как будто дом помнил июль и никак не хотел отпускать.

В углу гудела печь. Печь в доме была не просто печью. Мать говорила: «Печь — это алтарь. Огонь — это внимание. Если перестанешь кормить огонь, дом умрёт». Ульяна кормила огонь каждый день. Вставала затемно, разгребала золу, подкладывала берёзовые дрова — берёза горела ровно, без треска, и давала жар, который держался долго. Сейчас огонь дышал тихо, сыто, и отсветы его плясали на каменных стенах.

Пахло дымом, сушёной полыню и воздухом после грозы, когда молния ударила в скалу и раздробила камень.

Тук-тук.

Ульяна подняла голову. За окном, с той стороны мутноватого стекла, угадывался силуэт — небольшой, сгорбленный. Она отложила сердолик и подошла к двери.

Дверь была тяжёлой, из лиственницы, потемневшей от времени и дождей. Ручка — простая железная скоба, холодная даже летом. Ульяна положила ладонь на дерево и на секунду

задержалась. Дерево было тёплым. Оно всегда становилось тёплым, когда снаружи стоял кто-то с настоящей нуждой — не с праздным любопытством, не со злым умыслом, а с болью.

Открыла.

На пороге стояла девушка. Лет семнадцати, не больше. Лицо заплаканное, глаза красные, нос распух. Под платком — светлые волосы, выбившиеся влажными прядями. Видно, что собиралась, повязывала лучший платок, готовилась к встрече с той, к кому идут только в крайнем случае. В руках — узелок из серой холстины. Она прижимала его к груди, как ребёнка.

— Ты... — голос у неё сорвался. — Ты же ведьма?

Ульяна смотрела на неё не мигая. Глаза у неё были светло-серые, цвета горного хрусталя, и смотрели они долго, не отрываясь. Просителям казалось, что ведьма видит не только их лицо, но и то, что спрятано под кожей.

— Проходи, — сказала она и отступила в сторону.

Девушка перешагнула порог и на секунду замерла от неожиданности. Дом внутри был теплее, чем казался снаружи. Воздух был гуще, плотнее. И запах — горьковатый, травяной, с чем-то неуловимым — заставил её вздрогнуть.

— Садись, — Ульяна указала на лавку у стола. — Говори.

Девушка села на самый край. Узелок положила на колени. Пальцы её дрожали.

— Он меня не любит, — сказала она тихо, но с той особой интонацией, в которой мольба уже граничит с требованием. — Я всё для него делаю. Пирог пекла. Пояс вышила. Я ему сказала: всё, что хочешь, отдам. А он... он на Марью смотрит. Она старше меня, и лицо у неё рбое. А он на неё смотрит. Говорит: «Отстань. Не люблю».

Она замолчала, глотая слёзы.

— Я без него не могу. Я думала — умру. А потом мне сказали: сходи к ведунье на Чусовой. Она поможет. Она всё может.

Ульяна молчала.

— Чего ты хочешь? — спросила она наконец. Голос у неё был низкий, с лёгкой хрипотцой — от долгого молчания.

— Приворот, — выдохнула девушка и развязала узелок. Там было несколько яиц, краюха хлеба, горсть медных монет и одна серебряная серёжка — без пары. — Вот. Всё, что есть. Хочешь — ещё принесу. Только сделай.

Ульяна не смотрела на узелок. Она смотрела на девушку — и видела её насквозь. Видела трещину в груди — глубокую, старую. От трещины расходились тонкие нити: к холодной матери, к равнодушному отцу, к сёстрам, которые смеялись, к парню, который стал единственной надеждой на то, что она хоть чего-то стоит.

— Приворот — насилие, — сказала Ульяна. — Ты хочешь сломать волю человека? Того, которого, говоришь, любишь? Это не любовь. Это желание обладать.

Девушка заморгала. Она не ожидала такого ответа.

— Но ты же... — сказала она. — Ты можешь.

— Могу. Но не буду.

— Почему?

— Потому что не поможет. Он возненавидит тебя. Не сразу — но возненавидит. Будет смотреть на тебя и не понимать, зачем он здесь. Будет пить. Бить. Злиться. Ты получишь его тело и потеряешь всё остальное.

Девушка молчала. Потом губы её задрожали.

— Ты просто не хочешь, — сказала она. — Ты злая. Ты специально.

Она встала. Узелок соскользнул с колен, яйца треснули о каменный пол, монеты раскатились, серёжка закатилась в щель между плитами.

— Ведьма, — выплюнула девушка. — Ты просто ведьма. Люди правду говорят. Ты людей мучаешь.

Ульяна слушала. Слово «ведьма» ударило её — не в сердце, а глубже, в то место, где лежали старые воспоминания.

Она вспомнила деревню. Мать, идущую по улице — высокую, прямую, с такими же чёрными волосами и белыми висками. И женщину, которая при виде них схватила ребёнка и утонула в дом, шепча: «Ведьма». Не прося — боясь. Мать не обернулась.

А через день она же пришла к ним в дом. Положила узелок на порог. Смотрела в пол. «Ведунья, помоги», — и в голосе её были и страх, и стыд и надежда поровну. Мать взяла узелок и начала работать.

Ульяна усвоила оба урока. Люди будут бояться тебя, пока не понадобится твоя помощь. И тогда они придут. И назовут по-другому. А ты просто делай своё дело.

— Ступай.

— Не уйду! — голос девушки сорвался в крик. — Я здесь буду сидеть! На пороге! Пока ты не сделаешь!

— Сиди.

Ульяна отвернулась и пошла к печи. За её спиной хлопнула дверь — не изнутри, снаружи. Девушка вышла сама. Но не ушла.

Через минуту Ульяна услышала: тихий всхлип, потом шорох ткани, тишину. Она подошла к окну. Девушка сидела на каменном пороге обхватив колени руками. Ветер трепал её платок.

Ульяна вернулась к столу. Взяла сердолик. Повертела в пальцах. Сердолик — от крови, от женской тоски. Мать говорила: «Когда душа кровит, держи сердолик. Он тепло держит. Не даст замёрзнуть». Камень был тёплым — нагрелся от рук.

За окном темнело. Чусовая внизу стала совсем чёрной, только гребень у дальнего берега серебрился — всходила луна. Где-то далеко, в горах, прокричала птица и замолкла.

Девушка на пороге сидела тихо. Иногда вздрагивала — от холода. Ночь на Чусовой даже летом прохладная: от реки поднимается сырость, от скал тянет камнем.

Через час Ульяна встала. Сняла с печи чайник. Заварила таволгу и душицу — таволга успокаивает сердце, душица согревает. Добавила каплю мёда. Налила отвар в глиняную кружку. В другую руку взяла сердолик.

Девушка сидела, привалившись к дверному косяку. При свете луны лицо её казалось белым, как речная пена. Она подняла глаза — и Ульяна увидела, что слёз больше нет. Только усталость.

— Пей, — сказала она и поставила кружку на порог.

Потом разжала вторую ладонь.

— И вот. Сердолик. Он тепло держит. Когда тоскливо будет — сожми в кулаке. Он материнский. Ему всё равно, кому греть.

Девушка посмотрела на камень. Потом на Ульяну. В глазах её что-то дрогнуло.

— Я всё равно не уйду.

— Я знаю. Пей.

Утром, когда первые лучи ударили в скалы и Чусовая из чёрной стала серой, а потом зеленоватой, Ульяна открыла дверь. Кружка стояла пустая. Сердолика на пороге не было.

Девушка ушла затемно — может быть, в деревню, может быть, куда-то ещё. Унесла камень с собой. Ульяна постояла на пороге, глядя на тропу. Потом вернулась в дом.

Монеты на полу собрала. Яичную скорлупу вытерла. Серёжку нашла в щели — положила на стол, к камням. Может, вернётся.

Она села у окна и долго смотрела на Чусовую. Река несла свои воды, как несла их тысячу лет назад. Камень нагревался под солнцем. Дом дышал. И было тихо. Слишком тихо.

Глава 2. Ведание

Ульяна проснулась затемно, как всегда, — и сразу почувствовала: внутри что-то сдвинулось. Под сердцем, там, где обитало ведание — древнее знание, передававшееся в их роду от матери к дочери, — стояла тишина. Густая. Настороженная. Так замирает зверь перед прыжком: молчит, только ушами поводит.

Она лежала на жёсткой лежанке, покрытой овчиной, и смотрела в каменный потолок. Дом дышал — печь держала ночной жар, тёплые сквозняки бродили по углам. За окном едва серело. Чусовая внизу шумела ровно, привычно. Все звуки оставались на своих местах. Кроме одного — молчания внутри.

Она села, опустила босые ноги на холодный пол. Камень обжёт ступни — обжёт правдой. Ты здесь. Ты есть. Вставай.

— Ждём, — сказала она вслух.

Растопка печи отвлекла руки. Дрова занялись быстро. Пламя лизнуло камень, по стенам заплясали тени. Ульяна поставила чайник, достала травы для утреннего отвара. Иван-чай — чтобы проснуться без тяжести. Душица — для ясности. И капля мёда. Она заваривала этот сбор уже много лет — мать научила. «Утро должно входить легко, — говорила мать. — Не горчи, не терпни. Дай телу вспомнить, что оно живое». Ульяна налила ароматный отвар в кружку и села к столу.

Внутри, под сердцем, зверь насторожился. Он смотрел в темноту — туда, куда она сама боялась заглянуть. И ждал.

— Тогда работать, — сказала она.

Работа спасала всегда. В детстве, когда отец ушёл и пропал, — она собирала травы. Когда мать умерла — перебирала камни. Когда просители выпивали все силы — топила печь. Травы, камни, печь, дом — это держало. Это имело смысл.

Сегодня чутье звало наружу.

Время сбора. Полынь уже отцвела, но листья ещё держали горечь — самую густую, августовскую, когда сок в стеблях сгущается перед холодами. Зверобой перестоял: ещё неделя — и пожелтеет. Чабрец на скалах пока держался, хотя ветер с Чусовой обдирал его, сушил, делал ломким.

И камни. Обсидиан заканчивался. Его чёрные пластины она клала просителю на лоб — туда, где бьётся жилка, — и камень забирал страх, вытягивал его, как вытягивают занозу. Обсидиан работал с памятью, со старыми обидами, с тем, что люди прячут даже от себя. Прикоснётся — и вспоминаешь. Даже то, что не хотел.

Отец когда-то принёс ей первый обсидиан. Из дальней пещеры. «Смотри, Уля. Этот камень родился в огне. Он помнит, как горела земля. Если хочешь узнать правду — спроси у него». Тогда она не поняла. Теперь понимала: обсидиан — это застывший страх. Если дать его человеку, он встретится со своим.

Собралась быстро. Заплечный мешок — холстина, протёртая на лямках. Нож в кожаных ножнах. Кружка. Огнivo. Хлеб, завёрнутый в тряпицу. Отдельный холщовый мешочек для камней — травы и камни не уживаются рядом. Камни — медленные, холодные, помнящие тысячелетия. Травы — быстрые, горячие, живущие один сезон. Стоит положить их вместе — начинают спорить. Ульяна слышала этот спор.

Она окинула взглядом полку. Родонит — розовый, с чёрными прожилками, орлец, — его брали, когда болела душа. Аметист — фиолетовый, прохладный — для сна без страха. Змеевик — тёмно-зелёный, с маслянистым блеском — клали под порог от чужого зла. Лазурит — синий, с золотыми искрами, бабкин ещё, — для связи с теми, кто ушёл. Все они оставались дома. Она взяла только сердолик.

Нутро шевельнулось.

— Знаю, — сказала она.

Сердолик — для крови, на случай если сорвётся с уступа или порежется об обсидиан. Она сунула камни в карман и уже взялась за дверную ручку — но остановилась. Дом тронул за плечо.

— Что?

Дом молчал, но в его молчании жила просьба. Она огляделась. Печь горела. Пол подметён. Камни на столе лежали ровно. И тут поняла.

Пирог.

Мать всегда пекла пирог, когда ведание вело себя странно. Для дома. «Дом должен знать, что ты вернёшься. Голодный дом — мёртвый дом. Сытый дом — хранит».

Она не пекла пирогов много лет — с тех пор как матери не стало. Пирог был материнским делом, а она, Ульяна, была ведуньей. Ведуньи пекут пироги только когда дом просит. Сегодня дом просил.

— Хорошо.

Мука в берестяном туесе, в углу. Принесли месяц назад — кто-то из просителей расплатился зерном. Она смолола его на ручной мельнице: мука вышла грубой, с вкраплениями отрубей. Масло в глиняном горшочке, из зимних запасов. Яйца — от Анисьи, что держала кур ниже по течению. Соль. Капля мёда. Вода из Чусовой. Ягоды.

Тесто замесила быстро, хотя руки отвыкли. Оно получилось тугим, податливым — под ладонями дышало, набухало, обещало. Пока месила, внутренний зверь начал теплеть.

Поставила пирог в печь. Села на лавку.

И тогда пришло воспоминание. Мягкое, как волна от камня, брошенного в воду.

Отец.

Запах теста и мёда, тепло печи, тишина пустого дома — всё сложилось в картинку. Ей семь лет. Она сидит на этой самой лавке, болтает ногами. Мать ставит пирог. Отец стоит у порога с заплечным мешком — почти таким же, как у неё сейчас.

Высокий, широкоплечий, с руками, привыкшими к кайлу. От него пахнет каменной пылью и махоркой. Он улыбается — той улыбкой, которой улыбаются кому-то очень дорогому.

«Я принесу тебе самый красивый камень. Такой, какого ни у кого нет. Ты только жди».

«Я буду ждать».

Мать стояла у печи. Ульяна помнила, как её губы сжались в тонкую линию. Отец уже взялся за дверную ручку, когда мать шагнула к нему — быстро, резко, не так, как она обычно двигалась.

— Егор. Не ходи сегодня.

Он обернулся. Улыбнулся — той самой улыбкой, от которой у Ульяны всегда теплело внутри.

Помолчал. Переступил с ноги на ногу. Ульяна видела: он колеблется. Мать редко просила. Ещё реже — останавливала. Но он уже закинул мешок за плечо. Уже пообещал дочери камень.

— Я быстро, — сказал он. — Туда и обратно. К вечеру вернусь.

Мать ничего не ответила. Отвернулась к печи. Плечи её были прямыми — прямее обычного.

Отец ушёл. Ульяна бежала за ним до околицы — маленькая, босая, волосы развевались. Он обернулся на повороте, махнул рукой. И исчез за скалой.

К вечеру он не вернулся.

Пирог в печи дышал — поднимался. Запах стоял густой, сладкий.

Она вынула его. Корочка подрумянилась, хрустела под пальцами. Дом принял жертву. Можно было идти.

Надела сапоги, закинула мешок за спину и вышла за порог.

Утро разгоралось над Чусовой. Река лежала в берегах спокойная, зеленоватая. На том берегу, прямо напротив дома, стояла Дыроватая — громадная арка, прорезанная в скале. Солнце било сквозь неё, и камень горел изнутри. У арки вода была не зелёной и не серой — а золотой, с чёрными прожилками ряби. Старатели говорили: кто пройдёт под аркой на закате — вернётся с золотом. Кто на рассвете — останется там навсегда.

Ульяна знала Дыроватую с детства. Отец сажал её на тёплый камень у воды, свесив ноги, а сам стоял рядом — высокий, надёжный. Ветер с реки трепал его русые волосы. «Видишь, дочка? Это ворота. За ними — другая река. Туда уходят самые смелые. Когда-нибудь мы пройдем под аркой вместе». И она верила.

Тропа шла вдоль берега, то взбираясь на скальные уступы, то ныряя в заросли ольхи. Ольха росла кривая, цепкая — корнями держалась за трещины в камне, а ветвями тянулась к воде, будто хотела пить. Пахло рекой, нагретым камнем и полынью — горьковато, сухо, по-августовски.

Тропа повела её дальше вверх по течению. Здесь, за поворотом, Чусовая сужалась, и скалы подступали ближе к воде. Где-то далеко впереди, в двух днях пути, стоял Великан. Отсюда его не было видно — только Гора поднималась впереди, закрывая полнеба. Но Уля знала: он там. Громадная стена, сорок саженей вверх. На вершине его всегда гудел ветер — даже в самые тихие дни. Она приложила ладонь к груди и поздоровалась — про себя, без слов. Он был слишком далеко, чтобы коснуться его рукой, но он услышит. Он всегда слышал.

На другом берегу от Великана, стояла Печка. Отсюда её тоже не было видно. Уля помнила: она ниже других бойцов, но коварнее. Склоны её нагреваются на солнце так, что камень жжёт ладонь даже в августе. Зимой на Печке снег не держится. Идти до неё день, не меньше. Сегодня ей было не туда. Она коснулась Печки в памяти — и та ответила теплом. Давним, из детства.

Отец показывал ей бойцов с реки. Они плыли в лодке — тяжёлой, смолёной, — и отец работал веслом, а Ульяна сидела на носу и смотрела. «Вот это Великан, — говорил отец. — Видишь, какой молчаливый? Он всё знает, но слов не тратит». Лодка шла медленно, против течения. Вода плескала в борта. Отец был спокоен и силен — по-другому она его не помнила.

Мать говорила: «Со скалами нужно здороваться. Камень слышит намерение. Река — помнит. Огонь — внимает». И она здоровалась — коротко, как с равными. Не потому что так принято. Потому что так держится мир. Пока хоть один человек помнит слова — камень ответит. Река потечёт. Огонь согреет. А если забудут — мир умрёт. Не сразу. Медленно. Как камень крошится в пыль.

У старого омута Ульяна остановилась — вода здесь закручивалась в тёмную воронку, маслянистую, с белыми хлопьями пены по краям. В глубине, под камнем, жил дедко — старый водяной дух, капризный, обидчивый. Не тот, что у Омутного — тот дальше, этот был местный, свой. Ульяна знала его с детства.

— Здравствуй, дедко, — сказала она вслух. — Не сердись. Я мимо.

Вода колыхнулась — не от ветра, ветра не было. Из глубины поднялся пузырь — один, большой, — и лопнул на поверхности. Дедко принял приветствие. Но сегодня он был беспокойный: вода вокруг пузыря пошла кругами, и круги эти были не рябью — льдом. Тонким, прозрачным, тут же тающим. Что-то надвигалось. Дедко знал — но молчал.

Ульяна почувствовала холодок между лопаток. Ведание внутри неё молчало — но это молчание было громче слов.

— Знаю, — сказала она тихо. И пошла дальше.

Чутьё вело её. Теплело в груди, когда она выбирала верное направление. Холодело, когда сбивалась.

Тропа свернула в лес. Здесь, выше по склону, росли пихты — ровные, смолистые. Ветви их пахли горьковато и свежо, как бывает только в старых уральских чащах. Чуть ниже, у ручья, стояли кедровые — их запах был гуще, теплее, с налётом ореха. Ульяна вдохнула полной грудью и вдруг вспомнила: так пахло в детстве, когда отец брал её в лес за шишками. Она мотнула головой, отгоняя память, и пошла дальше, к малиннику.

Малинник — старый, одичавший, но ещё плодоносящий. Ягоды висели тёмные, перезревшие, почти чёрные. Ульяна достала из мешка берестяной туесок — тот самый, что всегда брала с собой. Опустилась на колени. Малина уже отходила, но ягод ещё хватало — тёмных, перезревших, почти чёрных. Она собирала их осторожно, по одной, и туесок постепенно тяжелел. Запах стоял густой, сладкий, из детства. Она не знала, зачем собирает. Руки делали своё.

У старого отвала, где когда-то мыли золото, росла полынь. Отвал зарос травой, но каменная крошка ещё виднелась под корнями — серая, с блёстками слюды. Здесь когда-то отец показывал ей, как старатели промывают породу. Она не помнила слов — только его руки, держащие лоток, и блеск мокрых камней.

В низине, где отвал переходил в болотце, пахло иначе — дурманно, сладко-горько. Багульник цвёл здесь даже в августе, и запах его стоял такой густой, что кружилась голова. Местные говорили: если надышаться багульником, увидишь то, чего нет. Или то, что было. Ульяна обходила низину стороной, но запах всё равно цеплялся за платье, как память.

Сейчас отвал был пуст. Только полынь — горькая до жжения на языке, с серебристым отливом на листьях. Ульяна опустилась на колени и начала собирать. Стебли срезала под корень, складывала в пучки, перевязывала льняной ниткой. Каждое растение благодарила — про себя, внутри. «Трава слышит. Если берёшь — поблагодари. Тогда она вернётся на следующий год».

Зверобой рос выше, на солнечном склоне. Его жёлтые цветы уже увядали, но стебли ещё держали сок. Она срезала их осторожно, выбирая только те, что клонились к земле. Зверобой не любит спешки. Где-то в глубине памяти звучало низкое, спокойное гудение — отец всегда напевал, когда рвал травы для матери. Она не помнила мелодии, только ритм.

Камни ждали дальше.

Тропа пошла круче. Слева от неё, по склону, сползали курумы — каменные реки из щебня и валунов, которые текли вниз веками. Камни в них лежали плотно, как вода, и при каждом шаге осыпались с тихим шорохом. Шорох этот был не громким, но настойчивым — как будто гора перешёптывалась сама с собой. Ульяна давно привыкла к нему, но сегодня этот шёпот казался громче обычного. Словно курумы предупреждали её о чём-то.

Пещера пряталась за старым можжевельником — скрученным ветрами, с сизыми ягодами, пахнущими хвоей и дымом. Вход — тёмная щель в скале, из которой тянуло холодом и сыростью. Пещера. Обычная, рабочая — из тех, куда она иногда водила просителей. В нише слева от входа лежали её вещи: глиняная плошка с жиром, трут, несколько свечей, свёрнутых из бересты и воска. Она нашарила их в темноте. Высекла искру, подожгла трут. Через минуту плошка уже горела, и стены ответили блеском. Сотни чёрных глаз смотрели на неё из камня.

— Здравствуйте.

Камни молчали. Но в их молчании пряталось узнавание.

Она собирала осторожно — только те осколки обсидиана, что уже отделились от стены. Живой камень не трогала. Камень растёт медленно. Если забрать его раньше времени, он потеряет силу. В пещере было тихо — только капли падали где-то в глубине, размеренно, как ход старых часов.

И вдруг свет померк.

Плошка горела, но её огонь больше не достигал стен. Что-то сгустилось в воздухе — плотное, влажное, пахнущее подземной водой и древним камнем. Ульяна замерла. Она знала этот запах. Она помнила его с шестнадцати лет.

Из темноты, из глубины пещеры проступили фигуры.

Маленькие. Коренастые. С длинными руками и большими глазами, в которых отражался свет, хотя света не было.

Чудь.

Они вышли из камня. Из трещины в дальней стене, которой Ульяна раньше не замечала. Или не хотела замечать.

Она стояла, вжав пальцы в мешочек с обсидианом. Сердце колотилось где-то в горле. Она не видела с того самого дня — с той инициации, когда мать привела её, дрожащую, и оставила одну. Тогда чудь учили её. Теперь они пришли сами.

Та, что стояла ближе всех, водила слушать реку. Глаза у неё были светлее, чем у остальных, — не зеленоватые, а серебристые, как лунный свет на воде. Она смотрела на Улю — и в этом взгляде не было ни суда, ни вопроса. Только узнавание. И что-то ещё. Может быть, терпение. Так смотрят те, кто ждал. И дождался.

Ульяна выдохнула. Она и не заметила, что всё это время не дышала.

Один из чуди протянул руку. На раскрытой ладони лежал горный хрусталь — маленький, с острыми гранями. Тот самый. Её камень, отданный в уплату за знания. Он светился собственным светом — не отражённым, внутренним. Будто внутри него билось сердце. Как будто ждал.

Ульяна смотрела на него. Спрашивать «зачем» было не нужно. Если чудь возвращает дар — значит, он снова понадобится. Пусть она сейчас не знала для чего. Но камень знал. Камни всегда знают.

Она протянула руку. На секунду замешкалась — пальцы дрогнули над раскрытой ладонью чуди. Потом коснулась хрусталя. Он был холодным — но холод не обжигал. Он лёг в ладонь, как ложится рука в руку. Тяжёлый. Живой.

Она сжала хрусталь в левой ладони, а правой потянулась к поясу. Туесок с малиной висел там. Теперь она знала, зачем собирала ягоды.

Уля опустилась на колени и поставила туесок на камень. Открыла крышку. Запах малины поплыл по пещере — густой, сладкий, летний.

— Это вам. Не в уплату. Благодарность. За то, что научили. За то, что вернули.

Чудь не ели. Они не нуждались в человеческой пище. Но та, серебристоглазая, протянула руку — и коснулась туюска. И Уля поняла — дар принят. Как когда-то предки оставляли стрелы у Дыроватой, так она оставила малину. Не камень. Не кровь. Просто память. Кусочек лета. Жест той, что помнит, тем, кто не забывает.

Чудь отступили. Свет плошки снова достиг стен. Фигуры истончились, растворились в темноте дальней трещины. Серебристоглазая задержалась на мгновение дольше других. Она смотрела на Улю — и в этом взгляде было что-то, чего Уля не поняла. Не прощание. Не обещание. Взгляд. Долгий. Спокойный. Как вода.

Через минуту пещера снова стала просто пещерой. Только камень в ладони напоминал о том, что это было наяву.

Ульяна выбралась наружу. У входа она остановилась. Прислонилась к камню. Сердце колотилось. Она не боялась чуди — она боялась того, что они разбудили. Какой-то старый лёд внутри неё треснул. Пока не разбился. Но трещина уже пошла.

Она разжала кулак. Хрусталь лежал на ладони — прозрачный, холодный. Она смотрела на него и думала: «Зачем? Для чего ты понадобился сейчас?» Пусть ответа не было. Но внутри, под сердцем, зверь пошевелился. Не встревоженно — скорее, удовлетворённо.

Солнце перевалило за полдень. Тени стали длиннее. Чусовая внизу сменила цвет — из зелёной стала серой, с серебристыми прожилками. Птицы замолкли.

И тут внутренний зверь встал.

Поднялся на лапы и повёл носом. Воздух сгустился, стал плотным — как перед грозой, когда небо ещё чистое, но внутри уже звенит. И в этом воздухе проступил запах. Слабый, едва уловимый. Каменная пыль. Махорка. И ещё что-то — то, что она не могла назвать, но помнила.

Тропа впереди пустовала. Лес молчал. Обещание висело в воздухе — как висит туман над рекой перед рассветом: ещё не видно, но уже дышится иначе.

Она пошла быстрее.

Ульяна только вернулась с гор. Мешочек с обсидианом ещё лежал на столе, пирог остыл. Она сидела у окна, разминала затёкшие плечи — подъём к дальней пещере дался тяжелее обычного, — когда услышала шаги. Тяжёлые, неровные. Человек то шёл быстро, почти бежал, то останавливался, будто раздумывая, не повернуть ли обратно. Так ходят те, кто не привык просить. Кто всю жизнь рассчитывал только на себя — и вот теперь вынужден идти к ведунье.

Она вышла на порог раньше, чем он постучал. Внутренний зверь поднял голову, повёл носом — и снова лёг. Не тот.

На тропе стоял старик. Высокий, костистый, с обветренным лицом и руками, похожими на корни сосны — скрученными, узловатыми, в тёмных трещинах. Одет он был обычно: брезентовая куртка, пропитанная речной сыростью, высокие сапоги с отворотами. От него пахло Чусовой — не той водой, что плещется у берега, а глубинной, холодной, что пахнет тиной, рыбой и старой древесиной. Солнце било ему в спину, и лицо оставалось в тени, но Ульяна и без света видела: человек пришёл с бедой.

Сплавщик. Из тех, что гоняют плоты от верховьев до Камы. Такие приходили в деревню по осени, когда заканчивали сезон, — шумные, пьяные, с деньгами, что текли сквозь пальцы. Этот был другой. Трезвый. И очень старый.

— Ты ведьма? — спросил он. Голос низкий, с хрипом — прокуренный, продубленный ветром.

— Ведунья, — сказала она.

Он стоял и смотрел на неё — не оценивая, а тяжело, будто взвешивал: стоит ли вообще говорить. Ульяна ждала. Солнце стояло высоко, тень от старика падала на порог — длинная, ломаная.

— Река мне человека должна, — сказал он наконец.

— Проходи. Рассказывай.

Он шагнул через порог — и вздрогнул. Чуть заметно, одними плечами. Так вздрагивают, когда входят в ледяную воду: не от холода, а от того, что вода живая и отвечает прикосновением. Он не посмотрел под ноги — просто замер на секунду, привыкая.

Ульяна заметила. Все замечали — но не все понимали. Порог в её доме был старым, стёртым десятками ног, но живым. Он помнил каждую ступню: лёгкую поступь матери, тяжёлую поступь отца, босые пятки её собственного детства. Он помнил просителей — тех, что приходили с болью, и тех, что уходили с облегчением. Он чувствовал намерение.

Под порогом лежал змеевик. От чужого зла. Когда в дом входил новый человек, порог его чувствовал. Если намерение доброе — дерево теплело. Если злое — холодело, как лёд.

— Порог — не просто доска, — сказала она, не столько ему, сколько себе. — В старые времена люди знали: порог — это граница. Здесь Явь кончается и дом начинается. Нельзя через него здороваться. Нельзя на нём стоять. Нельзя спотыкаться — не к добру.

Старик слушал. Не перебивал.

— Ты вошёл — и порог тебя принял. Тепло пошло.

Он шагнул внутрь. Сел на лавку, положил руки на колени. Пальцы его чуть дрожали от старости и многолетней работы. Ульяна села напротив. Обсидиан лежал между ними на столе — чёрный, блестящий, ещё не сортированный.

— Сына, — сказал он. — Алёшку. Сплавливали лес в позапрошлую осень. У Печки. Ты знаешь Печку?

— Знаю.

— Там пережат, вода бьёт в правый борт. Плот зацепился. Алёшка пошёл отцеплять — и сорвался. Течение — лошадь снесёт. Я его за руку схватил — вот так. — Он показал: пальцы сжались в кулак, побелели. — А вода тянет. Он мне: «Батя, держи». А я... я не удержал.

Кулак медленно разжался. Рука упала на колено.

— Тело нашли?

— Нет. Два дня искали. И я, и мужики. Не нашли. Река забрала.

— И ты хочешь, чтобы я его нашла?

— Да. — Он поднял глаза. В них стояла не просьба — требование. — Ты можешь. Говорят, ты с рекой говоришь. С духами говоришь. Скажи им: пусть отдадут. Пусть вернут. Хоть тело, хоть... хоть что-нибудь. Я похоронить должен. Я не могу так жить. Не могу.

Ульяна смотрела на него. Трещина в нём была видна сразу — глубокая, как русло Чусовой. Она шла через всё тело, через грудь, через руки. И в трещине этой была не просто боль. Там пряталась правда. Такая, которую он не хотел знать, но которая уже проступала наружу — как вода проступает сквозь камень.

— Пойдём, — сказала она. — Река везде одна. Она помнит.

Они спустились по тропе к воде. Чусовая здесь делала поворот, и течение замедлялось — не то что у Печки, где вода ревет на перекатах. Сейчас река была серой, спокойной. Старик шёл молча, тяжело опираясь на палку.

Ульяна подошла к самой воде. Опустилась на корточки. Положила ладонь на поверхность — вода была холодной. Закрыла глаза.

Ведание молчало. Но с рекой она говорила иначе — через тело. Через холод, дрожь, ток. Река отвечала ей — не словами, а ощущениями.

Сейчас река молчала. Не отказывала — именно молчала. Как будто ждала чего-то.

Уля чувствовала это кожей, телом, которое помнило реку с детства. Чусовая текла сквозь Гору насквозь — из мира живых в мир мёртвых и обратно. Она несла души ушедших в Нижний мир и возвращала оттуда тех, кто ещё не закончил свой путь. Она была переходом. Границей, которая соединяет.

Но сейчас она молчала. Не отказывала — ждала. Потому что река не говорит с теми, кто лжёт. Она ждёт, пока человек встанет в воду и скажет правду. Только тогда она ответит.

Уля открыла глаза.

— Река не говорит со мной, — сказала она. — Она хочет говорить с тобой.

— Я не умею, — сказал старик.

— Ты сплавщик. Ты всю жизнь с ней говорил. Просто не знал об этом. — Она встала и отошла в сторону. — Войди в воду.

Старик поколебался. Потом снял сапоги, закатал штаны до колен. Вода была ледяной — он вздрогнул, но пошёл. Остановился по колено. Течение обтекало его ноги, закручивалось вокруг голеней, тянуло за собой. Солнце освещало его сторбленную фигуру, и тень от него падала на воду — длинная, дрожащая на ряби.

— Что теперь? — спросил он.

— Позови его.

— Алёшка! — крикнул старик. Голос его сорвался, улетел в небо, ударился о скалу Печки и вернулся — разбитый, жалкий. — Алёшка!

Река молчала.

— Ещё, — сказала Ульяна. — Он не слышит. Ты зовёшь мёртвого. А он живой.

Старик опустил руки. Вода крутилась вокруг его колен. Он смотрел на своё отражение — тёмное, дрожащее на ряби, — и лицо его кривилось.

Ульяна достала из кармана обсидиан. Чёрный осколок лёг в ладонь — холодный, тяжёлый. Она взяла его с собой не случайно. Обсидиан — камень правды. Рождённый в огне, застывший стеклом. Он не утешает, не лечит, не даёт надежды. Он показывает Тень. То, что человек прячет от себя. То, что лежит на дне и ждёт, когда его увидят.

Мать говорила: «Обсидиан — для тех, кто врёт себе. Он ложь вытягивает, как занозу. Больно — но потом чисто». И она помнила, как мать клала чёрные пластины на лоб просителю. Как тот кричал — а потом замолкал. И наступала тишина. Такая, какой не было в нём годами.

Сейчас обсидиан жёг ладонь холодом. Он чуял ложь — ту, что стояла между стариком и рекой. Но Уля не стала класть камень ему на лоб. Эта ложь была не в теле — она была в словах. Вернее, в их отсутствии. Старик сам должен был её назвать. А обсидиан — помочь. Просто чтобы правда стала видна.

— Возьми, — сказала она и протянула камень.

Старик обернулся. Посмотрел на чёрный осколок. Потом взял — осторожно, как берут чужую боль.

— Держи. И говори.

Он сжал обсидиан в кулаке. Пальцы побелели.

— Я знаю, — сказал он тихо.

— Что ты знаешь?

— Что он жив. — Он не обернулся. Говорил воде. — Я знал с самого начала. Мне сказали: вынесло его ниже по течению, у Красной. Рыбаки видели. Он выплыл. Живой, здоровый. Только домой не пошёл. К бабе ушёл. К ней.

Он замолчал. Вода журчала.

— Я год уже... я всем говорил: утонул. И сам почти поверил. Так легче. Если утонул — горе. А если жив и не вернулся — стыд. Мне стыдно. Понимаешь? Стыдно, что сын бросил. Что я не нужен ему. Что я не такой отец, за которым возвращаются.

Он стоял в воде, опустив руки, и говорил — реке, не ей. Река слушала. Обсидиан в его кулаке нагрелся.

Ульяна смотрела на него. И вдруг увидела себя.

Она ждала отца. Тридцать лет говорила себе: «Он мёртв. Гора забрала». Но в глубине, под веданием, под камнями, под всем, что она в себе держала, — она ждала не мёртвого. Она ждала живого. Того, кто обернётся на повороте и помашет рукой. Того, кто вернётся и скажет: «Я принёс тебе камень. Самый красивый. Прости, что долго».

А если бы он вернулся — смогла бы она его простить? Или, как этот старик, выстроила бы себе могилу и ходила бы к ней, потому что мёртвого простить легче?

Отец умер. Она знала это — и всё равно ждала. Не его. А чего? Возможности перестать ждать?

— Я не могу к нему пойти, — сказал старик. — Не могу. Я лучше бы на могилу...

— У тебя нет могилы, — перебила Ульяна. — У тебя есть живой сын. И пока он жив, ты можешь с ним говорить. Мой отец мёртв. Я не могу ему ничего сказать. А ты можешь.

Старик молчал.

— Но я не знаю как, — сказал он наконец. — Я не умею прощать.

— Никто не умеет, — сказала она. — Но можно попробовать. Сначала — к реке. Река уже приняла твой стыд. Теперь ты прими его.

Старик стоял в воде. Потом наклонился, зачерпнул горсть речной воды — и плеснул себе в лицо. Вода потекла по щекам, по морщинам, по седой щетине. Он не вытирал её.

— Алёшка, — сказал он тихо, без крика. — Живи. Слышишь? Живи. И... если хочешь — возвращайся. Я не буду тебя держать. Но дверь открыта.

Он постоял ещё. Потом вышел на берег, сел на камень, стал обуваться. Руки дрожали. Сапог не налезал на мокрую ногу. Он возился долго, упрямо, ни о чём не прося.

Ульяна не помогала. Она знала: это его работа. Не её.

— Я заплачу, — сказал он, зашнуровав наконец сапоги. — Что хочешь. Денег нет — рыбой заплачу. Или дровами. Или...

— Не надо, — сказала Ульяна. — Ты уже заплатил.

Он не понял. Но спорить не стал. Повернулся и пошёл вниз по тропе — медленно, тяжело, но спина его стала прямее. Палка стучала о камни. Этот звук был слышен, даже когда фигура скрылась за поворотом.

Ульяна осталась у реки.

Она сидела на камне и смотрела, как вода бьёт о берег. Белая пена вскипала и опадала. Чусовая текла, как текла уже тысячи лет.

Старик ждал мёртвого сына, потому что мёртвого простить легче. Она ждала мёртвого отца. Один и тот же узел. Он развязал свой — здесь, в воде, с обсидианом в кулаке. А она всё ещё держала.

Она встала. Отряхнула плащ. Пора было в деревню. После разговора со сплавщиком внутри пришло понимание — ей нужно было увидеть Анисью. Единственного человека, с которым она могла говорить не как ведунья, а как Уля.

Но сначала её повело в сторону.

Чуйка — та самая, тот самый зверь, что поднял её затемно, — снова дала о себе знать. Мягко. Как будто кто-то тронул за плечо и сказал: «Там. Не проходи мимо».

Она свернула с тропы и пошла вдоль берега. Здесь, у самой воды, в сырой низине росла календула — рыжие головки ещё не отцвели, хотя август уже перевалил за середину. Уля наклонилась, сорвала несколько стеблей. Руки двигались сами. Зачем? Тело знало.

Деревня стояла в излучине Чусовой — десятка три дворов, почерневших от времени и дождей. После полудня она затихала. Солнце уже клонилось к западу, тени от заборов легли на дорогу косыми квадратами. Кое-где из труб поднимался дым — хозяйки топили печи к ужину.

Ульяна шла по улице — и улица, как всегда, расступалась. Не враждебно — привычно. Бабка Марья, сидевшая на завалинке, проводила её долгим взглядом и перекрестилась — не со зла, а на всякий случай. Мужик, чинивший сеть у ворот, кивнул — уважительно, но в глаза не посмотрел. Девчонка лет десяти, гнавшая гусей, остановилась и уставилась на Ульяну во все глаза. Та прошла мимо — и девчонка побежала дальше, но ещё долго оглядывалась.

Ульяна привыкла. Её не боялись — но и своей не считали. Она была как дальний гром: все слышат, но никто не выходит под дождь.

У крайнего дома, где тропа уже заворачивала к Анисьиному крыльцу, металась женщина. Молодая, растрёпанная. На руках у неё заходилась криком ребёнок — года два, не больше. Увидев Улю, женщина бросилась к ней, не думая, не помня, кто перед ней — ведьма, ведунья, просто чужая баба.

— Помоги! — выдохнула она. — Кипяток на себя опрокинул! Только что!

Уля взяла ребёнка за запястье. Ладонка была ярко-красной, кожа уже вздувалась. Ожог свежий — такой, что считанные минуты решают, будет шрам или нет.

— Воды. Холодной. Быстро.

Женщина метнулась в дом. Уля тем временем размяла листья календулы — рыжий сок окрасил пальцы. Женщина вынесла миску с водой. Уля опустила в неё ладонку ребёнка. Тот взвыл громче — от холода, — но через минуту затих. Холод снимал жар. Боль уходила.

— Держи так. Долго. Сколько вытерпит. Потом календулой смажешь — вот этой, растёртой. Не маслом, не жиром — только холодная вода и календула. Поняла?

Женщина кивала, прижимая ребёнка к груди. В глазах её стояли слёзы — но теперь уже не от страха. От облегчения.

— Спасибо, — сказала она. — Я... я не знала, ты...

— Держи. И воды не желей.

И отдала мешочек с календулой. Женщина смотрела на неё — не отводила глаз.

Уля шла дальше, а в ушах ещё стояло: «Помоги». Женщина крикнула это легко, не думая, как выдыхают. Потому что жизнь ребёнка была важнее гордости. Уля не помнила, когда в последний раз просила сама. Просить — значит признать, что не справляешься. Мать учила: «Ведунья должна быть сильной. Слабость — смерть». И она не просила. Ни когда отец ушёл, ни когда мать умерла, ни когда просители выпивали её до дна. Она просто делала. Всегда сама. Всегда одна.

Женщина уже скрылась за дверью. Ребёнок затих.

Дом Анисьи стоял на отшибе, у самой воды. Старый, покосившийся, но крепкий — сложенный из лиственницы, что темнеет от времени, но не гниёт. Из трубы шёл дым. Анисья уже стояла на пороге, опираясь на палку, и смотрела на гостью так, будто ждала её весь день.

— Заходи, — сказала она. — Чайник как раз вскипел.

Внутри было тесно и тепло. Пахло сушёными грибами, воском и старостью — не затхлой, а спокойной, как пахнет в домах, где живут долго. В красном углу висела икона — тёмная, с потрескавшейся доской и едва различимым ликом. Перед ней теплилась лампада. У стены стояла прялка — старая, с вытертым сиденьем. Анисья всё ещё пряла, хотя руки её уже дрожали.

— Садись, — сказала Анисья. — Рассказывай.

Ульяна села на лавку. Анисья налила чай — густой, чёрный, пахнувший смородиновым листом. Подвинула свежую нарезанную крупными ломтями буханку свежего хлеба и горшок с мёдом.

— Угощайся, — сказала Анисья, подвигая к Ульяне глиняную миску, накрытую чистым холстом. — Пельмени с брусничкой. Сушёная, прошлогодняя, но сладкая. Я с утра слепила, пока ноги ещё ходили.

Ульяна взяла один. Тёплый, чуть липкий от пара, с кисловато-сладкой начинкой. Она надкусила — и на мгновение почувствовала себя девочкой. Так пахло в их доме по праздникам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.